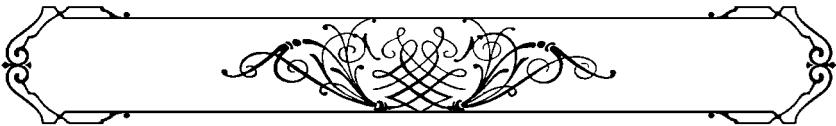


**Эдуард
АСАДОВ**



Зарницы войны





ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Идея создания книги «Зарницы войны» возникла у меня и очень давно и в то же время сравнительно недавно. Дело в том, что, как и большинство фронтовиков, вынесших на своих плечах самые горькие и трудные дни войны, я не очень любил рассказывать все о минувшем, тяжком, пережитом. Когда же мне все-таки приходилось в дружеском кругу рассказать о каком-либо случае или боевом эпизоде, то мои товарищи честенько говорили:

— Послушай! Ты же столько видел, знаешь и пережил. Вот ты рассказал сейчас такой интересный случай. Ведь жаль, если все это пропадет. Вот возьми, не откладывая, и хоть завтра же сядь и изложи все это на бумаге. Главное, не откладывай, не тяни!

А я откладывал. А я тянул. К прозе обращаться мне не хотелось. Меня переполняли стихи, а кроме того, существовало одно сомнение. Памятую о том, как некоторые интересные поэты, начав писать прозу, так потом по-настоящему к поэзии и не вернувшись, я опасался, что и сам могу выбиться из поэтической колеи.

Время шло.

Всякий раз весной, когда начинали приближаться победные майские дни и по радио, и по телевидению, и в газетах все чаще и настойчивее звучали радиопостановки, репортажи, воспоминания о минувших походах и боях, я все чаще и чаще начал чувствовать необходимость поведать людям о прошедшем и пережитом.

ЭДУАРД АСАДОВ

И вот какая интересная вещь. В памяти моей с годами произошла своеобразная поляризация. Одни имена, события и факты отдалились, отошли куда-то в тень и словно бы расплылись, а другие, напротив, стали ярче, отчетливее, ближе. Многие мои фронтовые друзья, товарищи, побратимы словно бы подошли близко-близко, постучались мне в душу и тихо говорят: «Ну что же ты? Мы же бились с тобой рядом, плечом к плечу. Наша жизнь не прошла даром. Уже мало осталось тех, кто помнит о нас. Мы твои друзья, и если не ты, то кто же о нас расскажет? А ведь, возвращенные снова из небытия, мы можем принести еще очень много пользы. Садись же и пиши!»

И я сел и начал писать книгу, которую назвал «Зарницы войны».





ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЛЕНИНГРАДЦЫ!

Зарницы войны... В суматошной торопливости повседневных дел они вспыхивают в памяти нашей не очень, пожалуй, и часто. Но так уж получилось, что как в природе, так и в нашем сознании зарницы памяти точь-в-точь как и грозовые зарницы, чем ближе к весне, тем вспыхивают все ярче и чаще. Особенно же густо сверкают они в первую декаду мая. Май как бы фокусирует, как полюс собирает меридианы, воспоминания о наших далеких боевых днях, таких дьявольски трудных и таких молодых!..

Так уж вышло, что моя фронтовая судьба оказалась теснейшим образом связана с тремя городами, на груди у каждого из которых засверкала впоследствии Золотая Звезда Героя. И мне всегда приятно сознавать, что в сиянии всех этих трех звезд есть по крупице и лучику моего ратного труда.

Ленинград! Сколько спето о нем песен и сколько написано о нем книг! И вряд ли мне нужно что-либо еще рассказывать о нем. Я просто приезжаю сюда, как в свою юность — горькую, трудную, но удивительно милую и дорогую... Я с удовольствием дышу его влажным, солоноватым и всегда холодноватым ветром, часами брошу по его улицам и переулкам, встречаюсь в концертных залах с дорогими моему сердцу ленинградцами, которые так горячо и взволнованно встречают меня, и читаю им стихи. У нас удивительное понимание. Между сердцем поэта и сердцами читателей словно бы протянуты тысячи тугих незримых нитей. И биение моего сердца отчетливо отдается в их

сердацах, а пульс читательских сердец гулко отзыается в моем сердце.

Вот я стою на залитой прожекторами сцене Академической капеллы, или в Концертном зале у Финляндского вокзала, или во Дворце культуры на Выборгской стороне, или в ДК 1-й Пятилетки, в Доме офицеров и так далее, и так далее, стою и читаю ленинградцам стихи. Пришел я к этим вечерам через самые тяжкие дни войны, опаляя гвардейскими залпами наших «катюш» метельную стужу блокадной зимы, болея душой за каждого ленинградца, за каждую улицу и за каждый дом в этом городе. Я читаю ленинградцам стихи, и люди слушают меня в напряженнейшей тишине. Они верят мне, отдают теплоту своих сердец, ловят каждое слово. Это мой праздник, мой звездный час, а точнее — наш праздник, праздник победы самых горячих и высоких чувств! Я не рожден в этом городе. Но город этот мой. А я принадлежу ему.

Не ленинградец я по рождению,
И все же я вправе сказать вполне,
Что я — ленинградец по дымным сраженьям,
По первым окопным стихотвореньям,
По холоду, голоду, по лишеньям,
Короче: по юности, по войне!..

Бросаю в напряженную тишину Концертного зала слово за словом, строку за строкой. Чуть потрескивают вольтовы дуги юпитеров и софитов, от них, вместе со светом, на сцену катится горячей волною жаркий воздух. На какое-то время создается иллюзия, что это не лампы и прожектора, а это горячее тепло двух тысяч сердец, незримым потоком катясь из зала, переполняя, заливает всю сцену.

Я читаю стихи и вижу седые от морозного инея леса, опущики, с искореженными стволами и ветками деревьев, с черно-бурыми ранами воронок на белом снегу, замершие на огневой позиции в четком ровном строю, как на параде, изящные в своей стальной могучей красоте, словно сказочные птицы, с устремленными ввысь стрелами спарок, наши знаменитые «катюши», и застывшие в напряженном внимании, простые и дорогие лица моих товарищей по войне. Они сражались за этот город, за всю

страну, за то, чтобы жизнь победила вновь, чтобы забыли люди о страданиях и горе, чтобы бежали на свидания счастливые девчонки, чтобы трудились заводы и цвели цветы и чтобы когда-то, в таком далеком для них будущем, пришли нарядно одетые люди в Концертный зал, на поэтический вечер! И у меня такое ощущение, что вместе со мной незримо стоят сейчас на сцене и погибший в первом же бою сержант Бурцев, бесстрашный пулеметчик Константин Кочетов, и старшина Фомичев, и комбат наш Лянь-Кунь, и Коля Пермяков, и Костя Белоглазов, и все, все мои фронтовые товарищи и побратимы. И это в их честь, да, именно прежде всего в их честь, гремят бурные аплодисменты и им дарят люди прекрасные букеты цветов!

Но я не только вспоминаю те далекие фронтовые дни. Конечно же нет! Почти всякий раз, приезжая сюда, я езжу на места боев. Кладу цветы к подножью скромного монумента, стоящего возле шоссе Ленинград — Мурманск, на котором высечены слова о том, что тут в январе 1944 года встретились воины Волховского и Ленинградского фронтов, осуществившие прорыв фашистской блокады города.

Я посещаю места наших огневых позиций, подолгу стою у обелиска «Разорванное кольцо» и словно бы вновь мчусь по фронтовым дорогам, вновь стою у консоли прицельного приспособления, припав глазом к окуляру панорамы, и навожу свою боевую «катюшу» на цель. В такие минуты я словно бы сбрасываю с себя незримое бремя лет, слышу взвизгивания пуль, грохот разрывов, ощущаю ноздрями смолистый запах сосняка пополам с едким запахом гары и, слыша знакомые голоса моих товарищей, всей своей душой, всем сердцем своим прикасаюсь к их светлой памяти...

Ленинградцы любят свой город. Справедливо гордятся его прошлым и настоящим. А память о войне для них тяжела и священна. Среди множества вопросов, которые я получаю на литературных вечерах, мне задали и такой вопрос, кажется, это было в Доме офицеров: «Эдуард Аркадьевич! Скажите, пожалуйста, что вам особенно запомнилось в самом начале и в самом конце войны?»

Я задумался. В моем мозгу, как на экране, стали мгновенно прокручиваться десятки, а может быть, сотни самых различных

фронтовых эпизодов — и очень важных, и каких-то второстепенных... И вдруг — стоп!

Лента словно бы остановилась. А на «экране» темный, почти черный от поздних сумерек лес, залитая голубовато-желтым, призрачным светом луны, укатанная машинами дорога, затвердевший от мороза, как камень, снег, а на дороге две фигуры — одна высокая, большая, другая чуть поменьше, приземистая и настороженная. Первые немцы, первые фашисты, которых я вижу близко-близко, почти в упор, лицом к лицу...

А случилось это в конце ноября 1941 года. Наши 50-й Отдельный гвардейский артминометный дивизион находился на Волховском фронте вот уже два с половиной месяца. За это время мы успели дать более пятидесяти залпов и считали себя уже бывальими фронтовиками. Впрочем, пятьдесят залпов, каждый из которых приводил противника буквально в ужас, и постоянная охота за нами как с воздуха, так и с помощью всех имеющихся у фашистов сил и средств — вполне достаточное для этого основание. Пользуясь быстротой наших машин, оперативностью и мастерством боевых расчетов, мы буквально как черти носились из конца в конец вдоль линии фронта и в самых трудных, а порой и почти безнадежных местах сражений давали свои воистину могучие залпы.

Главное же место нашей дислокации, так сказать, наш основной «дом», находился в густом сосновом лесу, примерно в трех километрах от станции Войбакала. Отстрелявшись и увиливнув от вражеской артиллерии и разыскивающих нас самолетов, мы чаще всего возвращались сюда, в «дремучий терем», как шутливо именовал нашу базу склонный к мечтательности бывший «мстерский богомаз» — старшина Фомичев. Тут, в объятьях вековых соснов и под сенью их могучих лап, чувствовали себя спокойно и почти по-домашнему уютно. Мы заправляли машины, проверяли моторы и боевые установки и, замаскировав всю технику, ныряли с мороза в жарко натопленные землянки, где ждали нас долгожданные горячие пицци, тепло и еще более долгожданные письма.

Машина стала на краю полянки,
Над нею клушкой вековая ель,
Раздвинь плечом гудящую метель,
Еще секунда, шаг — и ты в землянке.

И сразу тишина и слабость в теле...
 Все пальцы вдруг заноют, заболят...
 А после боя спиши, как в колыбели,
 Но нет, постой, поешь сперва, солдат!

· · · · ·

Солдаты ели, быстро согревались,
 Пристроившись у печки иль в углу,
 И не лицом — душою улыбались
 Горячим щам, покою и теплу.

Летели к дому мыслями своими.
 Печурка пела: «Спать, солдаты, спать!..»
 Но перед сном с густой затяжкой дыма
 Теперь бы только письма почтать.

Те письма выюга принесла со снегом,
 Визжа и плача, как подбитый зверь,
 Втолкнула их с озябшим человеком
 В распахнутую с маxу настежь дверь.

Непромокаем и незамерзаем,
 Носитель в сумке милых нам имен,
 На всех фронтах любим и уважаем
 Военный вездесущий почтальон.

Кто был на фронте, верно, испытали,
 Что означают письма для бойца,
 Как эти письма биться заставляли
 В сраженьях огрубевшие сердца.

Как их с волнением люди ожидали,
 От них порою увлажнялся взгляд.
 Настанет день — придумают медали
 «За ласковые письма для солдат»!

Прошу прощенья за то, что процитировал тут строки из моей фронтовой поэмы «Снова в строй». Но очень они пришлись тут к месту, а главное, что были написаны буквально сразу же, вслед за военными событиями, и дороги, если можно так выражаться, боевой достоверностью. Но вернувшись к прерванному рассказу. Вот точно так же, как описано в этих строках, вернулись

мы однажды засветло с огневых позиций. Согрелись, поели, и, когда принялись за горячий чай, настроение окончательно поднялось. «Счастливчики», получившие письма, уселись немедленно писать ответ, кто положив листок на доску от снарядного ящика, а кто на перевернутый котелок. Другие курили, балагурили, вспоминали эпизоды только что пережитого боя, а иные уже пристраивались поудобнее, намереваясь пораньше лечь спать. Так сказать, «припухнуть в запас», ибо неизвестно, когда еще придется хорошо высматриваться. Каждую минуту могут поднять по тревоге.

Внезапно стоявший на посту у дороги часовой вызвал начальника караула. Оказалось, что к нему подошла женщина из деревни Красный Шум, примыкавшей к станции Войбакала, и пыталась вступить с ним в какие-то переговоры. По железному уставу службы часовой ни с кем, кроме своего прямого начальства, вступать в разговоры не может. Но и отправить женщину обратно часовой тоже не мог. Как-никак, война. Мало ли что могло случиться. И надо выяснить, что и почему.

Уже не очень молодая, закутанная почти до глаз в серый платок, усталая женщина немного сбивчиво и встревоженно рассказала сержанту Кудрявцеву о том, что нынче утром, отправившись в соседний лес за хворостом и сучками, она заметила возле старой заброшенной землянки каких-то двух незнакомых людей. Ее они не заметили, но она разглядела их хорошо.

— Не напенские, побей меня бог, не напенские, — по-северному цокая, говорила она, и получалось у нее «не наценские, побей меня бог, не наценские». — У нас тут, почитай, и мужиков-то никаких поцти нет, а которые есть, так уж я их всех как есть знаю. А эти пудные какие-то и все время хоронятся, да я их все равно углядела. Кто их знает, кто такие. Глянуть бы вам, товарищи, может, подожгут или еще какой разбой учинят. Вот и пришла к вам.

Подошел старшина Фомичев. Выслушал женщину и, закуривая, предположил:

— Может, беженцы какие-нибудь или дезертиры... Насчет немцев не думаю. Это навряд. В лесу немцу делать нечего. Леса он боится. Однако надо обмозговать. Подождите тут минут десять. Я сейчас! — И побежал доложить комбату.

Надо сказать, что караульная служба у нас в батарее, да как и во всем дивизионе, была поставлена хорошо. Больше того, к нам прикомандирован был, ввиду секретности нашего оружия, даже взвод охраны. На протяжении нескольких месяцев расположение наше охранялось двойным кольцом караула. Снаружи — взвод охраны, внутри — часовые нашей батареи. И поэтому никаких немцев мы, откровенно говоря, тут в лесу не ждали. Возле передовой — да, в районе огневых позиций — да, но в глубине обороны, в глухом лесу... ожидать фашистов было трудно. Лесов немец не любил, не знал и боялся. Не знаю, как на других участках, но тут на севере, под Ленинградом, куда бы мы ни ездили и где бы мы ни стреляли, ни в одном более или менее приличном лесу ни мы, ни другие части, насколько нам известно, никаких фашистов не встретили ни разу. Широкие поля, проселки, магистрали, шоссейные и железные дороги — вот тут, пожалуйста, как говорится, сколько угодно. Но леса, наши родные могучие леса, с самого начала войны и до конца были нашим надежным и верным союзником!

Вот почему, побеседовав с женщиной, ни старшина, ни комбат особенно серьезного значения ее рассказу не придали. Но жизнь во все вносит свои корректизы и учит, что даже в самых проверенных правилах могут встретиться исключения. В чем мы, хоть и один-единственный раз — в тот вечер, смогли убедиться.

Вернувшись от комбата, старшина сказал, что показания женщины надо проверить. Для этого он отрядил первых же попавшихся под руку бойцов. Ими оказались: ефрейтор Кочетов, младший сержант Шилов и два неразлучных друга, два бывших плотника, рядовые Бойков и Зеленов. Уходя, Кочетов перекинул винтовку СВТ через плечо и повернувшись к женщине, шутливо прихлопнул валенком:

— Под руку вас не взять?

Та добродушно улыбнулась и каким-то потеплевшим голосом сказала:

— Возьми, возьми, родимый. У меня сынок, вот тоц-в-тоц такой же соколик, на границе служил. Где-то он нонче и жив ли... один бог ведает.

— Ничего, мать, — нашелся Константин, — не волнуйся. Сын твой жив. Пограничники, они ведь считай что заговорен-